10

MKKP

HOBBIX

1999

HOBBIN
MC M P

10

1999

HOBBIN MIMP

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 10(894)

Октябрь, 1999 г.

5

COAEPXKAHVE

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ — Круговорот, стихи

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ — Читающая вода, роман	9			
МАРИНА КУДИМОВА — Шитье золотое, слова, стихи	67			
НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР — Постсоветский детек-	5 0			
тив, рассказ АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ — Ночь славянских фильмов, рассказы	70			
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ — Область вымысла, стихи	75 94			
ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР — Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс	98			
The property of the property o	70			
ВРЕМЕНА И НРАВЫ				
АНДРЕЙ ВИНОГРАДОВ, ДМИТРИЙ ШУШАРИН — Потомки дракона	160			
дневник писателя				
А. СОЛЖЕНИЦЫН — Александр Малышкин. Из «Литературной коллекции»	180			
литературная критика				
ВЛ. НОВИКОВ — Филологический роман. Старый новый жанр на исходе столетия	193			
По ходу текста				
ИРИНА РОДНЯНСКАЯ — И Кушнер стал нам скучен	206			
РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ				
Алексей Колобродов. — Олег Михайлов. Пляска на помойке. Роман Александр Касымов. — Сергей Самойленко. Стихи Олег Рогов. — Галина Гордеева. Печать. [Стихи 60 — 90-х годов] В. К. — І. И. Виницкий. Нечто о привидениях. Истории о русской литературной мифологии XIX века. ІІ. Марина Могильнер. Мифология «подпольного человека»: радикальный микрокосм в России	217 219 221			
начала XX века как предмет семиотического анализа	223			

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Алексей Смирнов. — В. З. Санников. Русский язык в зеркале языко-	224			
вой игры	226			
Марина Новикова. — С. И. Пискунова. «Дон Кихот» Сервантеса и жанры испанской прозы XVI — XVII веков.	227			
Павел Басинский. — Русские писатели. 1800 — 1917. Биографический	221			
словарь. Т. 4.	229			
из редакционной почты				
ВАДИМ КОЖИНОВ — Уточнение позиции	231			
АНДРЕЙ СИМОЛИН — «Любовь к не вполне осязаемым вещам»	233			
БИБЛИОГРАФИЯ				
Книжная полка (составитель Сергей Костырко)	235			
Периодика (составитель Андрей Василевский)				
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ				
АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ — Благотворительность как норма и нормы				
благотворительности	250			
SUMMARY	256			

ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА ЗАЛЫГИНА И ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА КУБЛАНОВСКОГО С ПРИСУЖДЕНИЕМ ИМ ПРЕМИЙ МЭРИИ МОСКВЫ ЗА 1999 ГОД!

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3500 экземпляров журнала «Новый мир».

A HIEBHINK INVCATEAS

А. СОЛЖЕНИЦЫН



АЛЕКСАНДР МАЛЫШКИН

Из «Литературной коллекции»

№ итературная жизнь Малышкина не была долга — 20-е годы и начало 30-х, и с 30-ми же ушла в глухоту. (Хватил он и притеснений, отобрания отцовского дома в Мокшанах, сам под угрозой, умер ещё до войны, а единственный сын его в 18 лет пал на Курской дуге.) Он почти забыт на родине, а за границей вовсе неизвестен. Это несправедливо, ибо он был из ярких, чутких авторов того ломкого времени и нервно переплетен с его темами, тревогами, помехами, жизненными и художественными поисками. Всё же напечатал два романа, повесть, несколько рассказов — ещё не худший жребий среди тех задавленных в умолк, о которых мы никогда не узнаем, ни даже имён, и никогда не представим, что бы могло у нас явиться в литературе. (Замятин о Малышкине: «В нём очень большой разбег».)

Иду не по порядку публикаций, а по стержню авторской жизни. Пережитое ранее — трудней поддавалось передаче в разрешённой публичности.

«СЕВАСТОПОЛЬ» (1931). Сквозь весь 1917 недавний робкий, из провинциалов, студент филологического факультета Петербургского университета, теперь прапорщик ускоренного выпуска Шелехов — сперва кратко в Петрограде, затем в Севастополе, во флоте. И сквозь весь этот год он, хотя на военной службе и как будто заверчен событиями, — но душой в них не включён, так и остаётся одиноким; порывы вмешаться в события — сменяются отталкиванием, внутренним бегством, — всё то, что в советской критике называлось: «преодолевает в себе черты мелкобуржуазного интеллигента».

Революционный Петроград и общие в стране события мелькают в поспешном обобщении, довольно кратко — по пренебрежению к точности или по промахам памяти, с ошибками в датах, в фактах (в. кн. Николай Николаевич и в апреле на Кавказе, хотя в начале марта оттуда уехал; куда грубей: в ноябре Корнилов с «Дикой дивизией» идёт на Петроград); даже с повторением революционных басен (в феврале в Петрограде стрельба полицейских пулемётов с чердаков; в конце 1917 в Ростове «белые», которых ещё и нет, «вырезали и потопили в Дону 4 тысячи красногвардейцев» — ещё от автора ли это? часом не от издателя?).

Всё остальное протяжение романа и до конца года — Севастополь. Шелехов краем застаёт ещё блистательный колчаковский (не называя его так, разумеется) период — когда Черноморский флот чудом перестоял нетронуто три месяца уже всеобщего российского развала. Но прикатывает развал и в Севастополь и дальше клокочет бурно; уже наглый матрос за то, что его не послушали на митинге, готов стрелять в минный погреб — пропадите и вы все со мной! Одинокая душа Шелехова — в неохватимых поворотах событий: то, летом Семнадцатого, швыряет его, исходящего любовью к народу, в одного из первых бунтарских ораторов; то, уже к зиме, когда сжигают офицеров в топках кораблей, расстреливают сотнями на Малаховом кургане, — переодевается матросом, впадает в берложную залёжку, вне событий, исстраданно, до полного упадка: будь что будет, придут — так придут. И жуть его ожиданья — зри-

мым пиком революции передаётся и читателю. Картины севастопольских месяцев Семнадцатого года — как вылеплены из пламенного потока. Они и суть — главное содержание книги.

Эти несколько круговоротных месяцев с большой полнотой передают нам воздух свободы Семнадцатого года, уже мало кем ощутимый теперь, заслонённый Октябрьским переворотом. И яркость передачи — она от силы авторского пера. И жизненные сцены (поразительно, как прошло цензуру заседание комитета на «Пруте» — откровенно гадкие большевики), и психологические перемены, метания, и пейзаж и язык, — незадремливающее внимание автора ничего не упускает — и передаёт собранно, композиционно крепко. (Ещё: точная мера, когда кончать главу.) Отдельные куски выделяются по яркости и силе, ещё и — отточенные «ударные» абзацы, какими не всякую полную главу напишешь. Обращает внимание приём, как описано заседание в Морском собрании: никак не полностью, лишь обрывками, а в перебивах — картины моря и флота, — и вот впечатление цельное. Ещё приём: как передан митинг во время буревого ветра: издали, обрывками, какие доносит ветер, — а как будто мы послушали весь митинг полностью.

Передача слитной толпы — особое тщание и удача Малышкина. (Как увидим ниже — в «Севастополе» был тут не первый опыт его.) После крупных движений революции — за задачу изобразить нерасчленённую массу брались и другие советские писатели (удачен опыт Серафимовича в «Железном потоке»). Слитно передаёт Малышкин и общую массовость на улицах февральско-мартовского Петрограда, и изводящие митинги, столь частые потом всюду, вот и в Севастополе. «Толпяная трущоба проспекта»; «толпы хлестались вдоль улиц»; «толпёж», «темнотысячная сила»; «будто и на самом небе над головой валил тысячами народ»; «обваливалось массой "ура"»; «толпяная вода митинга»; «многотысячно пучились»; «гололобая [матросы] площадь качнула тысячами дул»; «сбившийся тёмный косогор народу»; «толпа ходила каменными валунами»...

В 20-х годах и многие советские писатели настойчиво искали лексического и синтаксического освежения фраз, как избежать затёртости выражений. как выразиться необычным образом. (С 30-х годов — обходя вершину Платонова — смелость словосочетаний резко оборвалась.) Этому поиску отдал щедрую дань и Малышкин: «мчащееся тысячеверстье», «чьё-то щемящее не узнанное присутствие», «воздушная окрыляющая пустота», «изрыданные скрипками прибои», «пелена небывалости затягивала», «сердце билось сосущими толчками», «в груди упало тягуче, блаженно», «мутно нагрузшая голова» (недосып), «прогрущённая музыкой мгла», «музыка рухнула» (духовой оркестр), «ожерельчато-огнистый купол» (цирка), «железный оркестр пения и грохотов», «пролелеет кого-то мотор» (так назывался тогда автомобиль), «поезда падают в недряные тьмы России», «вынывает в нелюдимую высоту рожок», «ночь обсвистывала снасти деятельным ветром», «ночь продолжала стоять на одной минуте, не сдвигаясь», «нашёптанная слухами полночь», «пил глазами сумерки», «заплутавшаяся малость» (человек), «бегучая давка», поезд «зверем раздирал пустоту», «бритое, пудренное подбородчатое лейтенантство», «летящие вперёд подбородки и строй юнкеров». Все такие выражения, конечно, задерживали внимание читателя, но именно тем не облегчали чтения.

Или о женщинах: «косо летящие шляпы» (дамская мода), «белокурым туманом прошла», «процвела бледно-розовая с чёлкой», «цветковые глаза», «свет цветными искрами осыпался в ресницы», «шумят мигающие ресницы», «женщина с узким солнечным телом», «охапка тёплых волос, живых глаз, душистого платья», (после ухода её) «никогда не пропьянеют женские духи в кабинете», «смуглая мякоть пробухала сквозь кружева», «трепетно крал глазами», «разлить бы по небу своё одурелое счастье».

Но тут очень тонкая грань. И малый сдвиг в сторону даёт уже результат спорный или даже банальный: «духи опахнули его как тысяча неуловимых ласк», «чудился лазоревый неописуемый рассвет», «немыслимые радуги», «светы сновидений»...

Однако и малый же сдвиг в другую сторону достигает метафоричности: «по плечи в пылающем звёздном небе»; «каждая извилина мозга напрягалась, как канат в бурю»; «безмолвие нависало пудами»; «липкое прислушивание к каждому стуку»; «просунул свой голос в набежавшее затишье»; «тротуары отяжелённо плавали в полуосвещённом сумраке туда и сюда» (вечернее массовое гулянье); «мятель света, хороводящие зеркала»; (освещённая солнцем) «вода жалила глаза»; «оглохшая мгла»; своя «отплюнутая жизнь»; «сердце колотится, как чужой камень»; «с головы до ног выпрямляющий голос»; «водяной взгляд»; «металлический привкус пули».

Свежесть, незатрёпанность удаётся Малышкину и в передаче пейзажей:

- → жаркие, напряжённые звёзды;
- заплаканно задрожала звезда;
- луна дико вылетела из-за облаков. Землю объял её бесноватый свет;
- затерянный в гиблых полях день;
- золотые облаковые обвалы;
- небо болело ядовито-красным закатом;
- углится закат.

Ещё и о море:

- море плескалось как множество тревожных собеседников;
- море как побоище: дико расхлёстанное, изрытое бешено плясучими смерчевыми буграми;
- вымороченная зимняя пустота моря.

И о городе:

- бриллиантовый плёс Невского;
- радужно слезящиеся невские фонари;
- фасады, падающие в небо;
- стеклоглазые этажи:
- сугробные парки.

Язык Малышкина богат, гибок. Хорошо удались некоторые короткие народные диалоги. А вот из его слов:

— гущь — ж. — дремь — ж.	— пургово́е крутево— зареве́ть (от зарева)	будоражно дёргая за сердцечешуились зыбинки
 дрожно — нч. 	тенькнула пуля	 со складкой бывалости
 брезг лампы 	 западины углов 	сердце хлыщется
огневеть	 вдавины шагов 	содрогающая тоска
вечеровый	 роси́лись дожди 	 обжадовелое волнение
— мохрявый	– клонило в жмурь	 гармоника подыхивала
нахныкивать	угляные глаза	 оживевшее железо
— баловливо	казнящие глаза	 пулевые вгрызины
 пово́льщина 	смехучие глаза	 вот так бы перененавидеть
непочётливый	 срывистый ветер 	 многонапевный говор
спекулянничать	 ветровитая ночь 	 повеселелось как-то.
 покатолобый 	 щекотный девий смех 	с привизгом

«ПАДЕНИЕ ДАИРА» (1921). После Семнадцатого года следующий шаг — в Гражданскую войну. Так и есть: повесть о взятии Крыма красными. Но этот шаг Малышкин делает на десять лет раньше «Севастополя»: с «Даира» он начинает писательство. Отчего так переставилось? Живее были в груди, ещё не остыли крымские бои (Малышкин был их штабным участником)? Или на этой теме он свободен был сказать всё, как чувствовал, а о большевицком раннем Севастополе — не смел?

В этой повести главные усилия Малышкина, кажется, и были: как описать армейскую массу, и особенно в движении. Для этого он принимает былинный стиль, где сливаются все реальные детали — в общее впечатление и символы. (Тогда не обязательна для него и последовательность боёв: вот уже почти атакуют входы в Крым — и снова отброс к прежним походным подтягиваниям.)

Очень изредка вырывает из массы кого-то, с кем или краткий диалог, или вдруг лицо («каменная черта на лбу таяла в жёсткую улыбку»; «в австрийской шинели с крупными прозрачными глазами»;), и потом эти названные ещё выныривают (Микешин с его кроваво-красными обмотками, смастерёнными из плаката; добрые глаза у «тернационала» в австрийской шинели — а с чего бы недавнему военнопленному, воюя на чужой земле, быть таким уж добрым?). Или называет отдельных людей без существительных: лохматый, чернобородый, яростный, подтолкнутый ужасом тучным. Один раз — голова командарма: «профиль каменного, думающего о суровом».

Это катящее, льющееся движение красноармейской массы — идёт черезо всю повесть, постоянно ощущается — а отдельные случаи выделены редко (как насильственный выгон деревни на плотины). Удача — несомненная. Для описателя крупных людских движений — такое труднее всего. (Замятин о «Падении Даира»: «удалось то, что не удалось Пильняку», «тысячеголовый безымянный герой», «образ недифференцированной массы».)

Словесные выражения поддержаны и часто возникающей ритмичностью:

- в огненной слепоте рождается мир из смрадных кочевий;
- это было становье орд, идущих завоёвывать прекрасные века;
- провлекались ряды в беззвестье, в забвенные волны;
- гул становой двинутых по дикой земле;
- стыли раскрытые рты, развёрстые зрачки;
- рухнуло гиком, заревело тысячами горл;
- облако грив, пик, развевающихся в ветер отрепий;
- зыбилось нескончаемое поле масс;
- земля гудела от гнёта обозов, роптал невидимый скот;
- мчалась ножовщина, сшибалась осями, сворачивая плетни;
- дьяволы мчались, скалясь на штаб;
- скрипя и гудя тысячеголосьем, армия повалила;
- приливала глазеющая зыбь; близились идущие шумы;
- шли, горбясь от сумок, там и сям попыхивая огоньками цигарок;
- тьмы шли и шли; токи толп; серое кишащее живьё;
- падающий молот множеств;
- множества пили пресную воду и упали на берегу.

(Тут мы сблизили некоторые сходные определения, но в тексте повести онк не сгушены и не производят впечатления повторов.)

И массы ждут себе и жаждут обильной добычи при победе:

- прорвать дорогу в кочевья, где молоко, мясо и мёд;
- чудились брошенные богатства городов:
- брызжущий в потёмках рай в этом было мировое.

Тут Малышкин разрешает себе сильные перекосы: *там* — «богачество, стекшееся со всей России», там — роскошь, кутёж, разврат и короли нефти, «светящиеся небоскрёбы» — это во врангелевском-то подтянутом Крыму; там — «мир умирает в предсмертной сумасшедшей агонии»; там одни «отборные дворяне в эскадроне», а простого народа в *том* войске будто и вовсе нет; там — «английские шинели», «укрепления, сделанные союзными инженерами», «мощь усовершенствованной техники».

Как жаль: сам ли поддавшись красной пропаганде или нарочито включась в неё, Малышкин разрешает запечатлеться в истории — неправдоподобию и легендам.

А читается повесть нелегко, с затруднениями. Здесь — гораздо резче и настойчивей та претенциозная манера эпохи 20-х годов (которую мы видели и в «Севастопеле») выразиться необычно:

- чёрным хаосом скакала ночь; никла вселенская ночь;
- в полях снилась невозможная горящая ночь;
- в объятьях последней ночи закаты гаснущих уходящих веков;
- шла ночь упоений и тоски; дикая смятенная ночь шла;
- крик, вещающий о рассветах;

- пустые поля, вогнутые как чаша, подставленная из бездн заре;
- восходящая заря, как грань времён;
- просторы мощно и задумчиво разверзались;
- (безлично) пело о бурях и прекрасных веках; плывут времена;
- закат дрожал на крыльях птиц червонной дрожью;
- из прорвавшихся ослепительных снов крикнуло грозой;
- и в снах, сквозь зарево, жуть и кровь, успокоением сияли в мглах света́;
- фонтаны светов, изящество культур, торжественные гимны владычеств:
- оркестры веяли волнами слав;
- там была лютая грань, оплаканная матерями;
- неизволнованные дни;
- знаменитая баядера выплыла из сказок, из томных лун, заломив голые руки в алом.

Пожалуй это пристрастие не одного Малышкина: «сны», «полусны», «сиянья», «светы» («утонув в далёкие брызжущие сны», «ведомые сном», «светы культур», «сиянья пространств»). И ещё «падает», «упала»: «сумраки падали, омрачая пески», «в горизонты падали столбы», «падали в зиянье дыры автомобили», «падали колонны» за холмы.

Эта всегда напряжённая поисковая манера почти неизбежно сбивается в громоздкость, усложнение синтаксиса, а то в декламацию, в пафос, на себе и показывая ограниченные возможности таких экспериментов:

- просиять в героические пути всеми радугами безумий и нег;
- зарева, висящие в безднах и идущие из чёрных снов в века;
- звенели неисходные пространства в зеленоватом тумане заката, последнего на земле.

Эта экспрессивная манера и не продержалась в литературе долго. А нечто — и утеряли мы без неё.

А как хорошо совсем коротко: «нагретая стужа» (у костра), «зеркальный палаш», «голубые иглы трамваев», «глыбастые суставчатые танки».

Особо к тому времени: «матерились в душу и в революцию», «лазишь тут, а затворять за тобой царь будет?», «ий богу».

Из слов:

184

 — смертельный сдав
 — в навсегда
 — зернь — ж.

 — румяная ярь губ
 — глубиневший
 — щемь — ж.

 — безвестень — ж.
 — ураганилось
 — безмолвь — ж.

 — вечерение
 — безглубый
 — сне́дево — ср.

- кружительно

«ПОЕЗД НА ЮГ» (20-е гг.). Даже не рассказ, а почти очерк: уже в мирное время автор едет отдохнуть — да опять же в Крым, всё в тот же Крым — да всё по той же вертикали красного наступления 19-го года, белого отступления. Одно, другое, третье проезжаемое место двоится: сейчас — такое, а было — какое, как? Тут — попадись и спутник, который в этих же местах тогда воевал. И — горячее биение памяти, да и самой жизни загадочной, как через неё проживаешь. («Свет, упавший из давнего, по-иному осверкал жизнь».)

Ход поезда: «Поезд ввинчивается в золотую, пыльную пустоту», «поезд сеет везде бунт, грохот и пыль»; «восходящее солнце обрушивается на поезд, стены станции начинают пылать»; «туннели гремят, как весёлые мгновенные ночи». А уже в Крыму: «мотор автобуса на подъёме скрежещет, словно и ему высота захватывает сердце». (Ещё сюда из «Ночи под Кривым Рогом»: «пласты сдвинутых воздухов», «буря взрытых воздуховых недр», «гигантские размахи ветров».)

Пейзажное: «затылины гор», «синее кустьё»; «красное полымя луны и замглившаяся глубь», «закатилась за туманы полевая сторона»; «морозное надсмертное солнце». И, счастье юга: «Из арбуза прёт алая мякоть». «Лицо, полное девьей смуты».

«ЛЮДИ ИЗ ЗАХОЛУСТЬЯ» (1931-32). Такой изневольный хребтовый перелом в этой книге, что начинаешь её со впитыванием, восхищаясь увековеченными, малоизвестными картинами Эпохи (Перелома же), — а к концу выхолащивается до такой советской показательности, что и дочитывать трудно: стыдно и больно за автора; вот так, партийным цензурным гнётом, корёжились таланты.

Начинается с каких исторически верных картин! Теснимый коренной российский («старый») мир — весь передаётся существенно, всё по делу, пустого нет, подлинный воздух эпохи — и вся искрученно-натужная переплетенность её. Динамичное крутое начало: ночной побег из родных мест угрожаемых людей (а вот тут, в овраге — расстреливали; а «с тебя семь с полтиной за лишение [тебя] голоса»). Автор пишет, как будто не гонясь за плотностью, а ведь как плотно. Безумие советских станций, билетов не достать, а ехать надо, «паровоз оглушительно повалился на народ, как кузница с адским пламенем», и ринулось на вагоны «скопище со страшными сундуками», посадка со всеобщей дракой. А в «тусклой банной духоте вагона сверху донизу торчали ноги», «в потёмках по-чумному брякались на низ, прямо на мякоть, на людей». «На каждом полустанке набивались в проход деревенские и уездные люди», «по полу как ножом ударяло холодом». «На одном полустанке ввалилась в вагон целая семейная изба, с мешками, кадушками, с перинами, даже ухватами». «Теперь избу заколотил, семейство всё забрал с собой в Челябу, на шахты. Без керосина какая жизнь? а наши бабы молочко на него меняют». За ночь «сопрел густо человечий угар, мутил».

А утром, после тяжёлой ночи, постепенно оглядываются, знакомятся — и об одном, другом, третьем выясняется: да все тут — беглецы, все — бегут от невыносимой советской жизни, ища где-то другую — да уж не ту, что на станционном наянливом плакате: «весёлого вида пассажирка в играющей по ветру вуалетке облокотилась на автомобиль, а за ней белые дворцы, синее как жарптица море». («И страшно стало, что есть где-нибудь на свете такая лёгкая жизнь».)

И в этой запутанной, лапотной, смрадной вагонной дикости, «кудлатом рванье шапок» — вдруг с верхней полки ноги в богатых штиблетах; костюм из заграничного клетчатого материала, каракулевая шапка лодочкой, зеркальце и щёточка белой кости, все зубы золотые. Что за диво? Оказывается — богатый портной, налогами не дали ему работать на месте, он надеется спрятаться в большом городе. (Между делом спрашивает: нет ли чего в газете про войну.) — На другой верхней полке бухгалтер едет «в долговременную командировку»: «сам я социального происхождения от крестьян, меня мамка в жнитво на полосе родила» и «фамилия моя самая крестьянская» («через газету фамилию променял»). — И краснодеревец Журкин, лишившийся всякого заработка. — И мужик в зипуне («от колхоза, что ль, ушёл, отец?»), надеется в городе зарабатывать, и в тамбуре кричит погромче, пробуя: «Сы-ттёк-лы вставлять!» — И Пётр Соустин (так понять, что родной брат автора, но им не щадим), убежавший от своей торговли, пока не посадили. — И подросток Тишка: жил в работниках, но «у дяди Игната отобрали всё и самого угнали неизвестно куда», кормиться стало нечем, так чем куски собирать — поехал на великую стройку; с ним — пара новых лаптей и полкраюхи хлеба. (И сторонним глазом на него: «Какая сирота сидит, моргает. А годика через два в ком-сомол запишется, чтобы власть ему дали».) — А одна старуха едет жить у дочери-прислуги. Да у кого ж теперь прислуга? да кто ж хозяева? — Партейные. «Для других, для новых людей время подошло, и они юркают в нём, хватают своё счастье».

И в этом купе слышим разговоры — для советского романа поражающие своей откровенностью и точностью: «И никакого закона уж нет: ты им налог

186 А. СОЛЖЕНИЦЫН

заплатишь, а они опять накладывают. У них цель теперь такая — задушить». Так закрыл мастерскую, распустил мастеров: «Валяй, голубчики, в профсоюз, поглядим, как он вас прокормит». — «Туговато в деревне приходится: на деньги и то хлеба не купишь». — «Насквозь всю страну прочёсывают железной гребёнкой». — «Вся Россия с корнем пошла, а спрашивается — куда?» — «Всякий ехал народ. Что-то сотрясло его, сдвинуло из исконных, отцами ещё обогретых мест, — куда?» — «Ехали и ехали, будто качало так безначально всю жизнь».

А в газетке что? «В газете описывались только подробности победоносной операции Красной армии на китайской территории, сколько пленных, трофеев». — Нашлась водка, выпили. Бухгалтер, опьянев: «Можно мне на себе рубашку изорвать? Очень радостно мне, что мы такое сильное строительство раздули». — А стекольщик приобрёл от водки библейско-судейский тон, «словно по божественной мрачной книге читал»: «Не люди мы, выродки стали. Весь мир смотрит на нас с призраком».

После Уфы «в вагоне появилось двое молодых, деловитых, в гимнастёрках и ремнях через плечо, со скрипучими военными сумками на бёдрах. Они ходили по вагону, громко разговаривая, как дома». (У них — и колбаска на столике.) Выездная комсомольская бригада. Учат того челябинского шахтёра: «Чего ты муру разводишь? Раз ты рабочий, ты должен брать всё сознательно, на чутьё! Сейчас деревня проводит классовую борьбу с кулаком...» — А молчальник Тишка смотрит-думает: «Такие ж вот, молоденькие и злые, в ремнях, пришли и забрали безо всяких Игната», тишкиного кормильца.

Долго поверить нельзя: неужели всё это мы читаем в *советском* романе 30-х голов?

А приехали поездные на место великой стройки (Магнитогорск) — высадка в поле за четыре километра от станции: дальше пути забиты составами, безоглядно навезенными поездами. «Составы тянулись оглохшими улицами». Над станционной кипятильной будкой — плакат: «Дадим пролетарский отпор дезертирам, подпевалам классового врага!» И теперь всех, и лучших специалистов, гоняют по четыре километра в пургу на разгрузку. «Сарайные сплюснутые крыши чуть не лежали на земле. Этими бараками зачиналось великое поместье стройки». «Наспех сколоченная черновая жизнь». — «Бараки отапливались впроголодь, угля подвозили по малой кучке и то не всякий день», «барак в грязище, в срамотище, из матрацев труха сыпется, один куб с кипятком на 8 домов». «Не дают валенок. Люди ходят по четыре дня не умываясь». На работу посадка на грузовики — вперегонки, «лохматым шаром облипали грузовики», а с кого лишнего — шапку срывали, прочь! А жалованья рабочим — за полтора месяца не плачено. (Тогда это казалось — долго.) «С обратными поездами утекало много недовольных». А новый город — из двух многоэтажных домов — Управление и «глазасто-оконная гостиница высится диким дворцом». «Сияли насквозь огневыми стёклами. У подъездов, светлых как днём, готовно ждали автомобили. Ходили под фонарями по своим делам люди. Тянуло житейским теплом». «Отдел рабсилы». Начальство устроилось. «А чуть отойдя сразу дикое поле, мрак — ни света, ни человека».

Редкая, если не почти единственная правдивая картина пятилеточной стройки. (Партийный профуполномоченный, разумеется, имеет своё объяснение: «Именно с таких лишений должно начаться главное, последнее». Самому ему «победа мыслилась за суровыми хребтами лишений, в отказе от себя, в воинственном обеднении жизни. Почему ж другие не должны поступаться вровень с ним?» А «в бараках нам не век жить, потом мы тут таких дворцов наворочаем». Да ведь «через потёмки как бы огромный мост провисал в несотворённый, но вероятный уже город».)

А разговоры рабочих! «Им, главкам-то, хорошо: они и сыты, и в тепле». — «Може где и власть, а у нас одна бражка собралась». — «Зароптали про господ, которые как были, так и остались». — «По деревням-то что деется? до последнего терпения доходит мужик. Башкир и тот злобеет». — «Нигде спо-

кою нет. Жили люди, никого не трогали». — «Мужики-то, дураки, чего смотрят? Собрались бы вместе, всем миром...»

Но на все такие отчаянные слова у автора есть свой защитный приём, и он до поры-времени срабатывает: придавать говорящим такое персонажам личные неприятные черты: то — «жуликоватая бородка», то — «глумливые глаза», «ведьмастое перекошенное лицо», «дурашливые злобные смешинки в глазах», «с глумливой пристальностью», то — «рассказывал заученно», то — «что ж это я зря болтаю?». Или успокоительная вставка от автора: а были и другие, хорошие бараки, и там всё ладно.

Мастер — со связанными руками. А когда ото всего недовольства разразился массовый невыход на работу, то от автора: «Впервые во всей этой булге пропахнуло чужое, недоброе крыло». — И профуполномоченный: «Тут лазит какой-то враг. Тянут вас в ту старую сволочную жизнь». Бороды, малахаи, космы — из слушателей мало кого он разгорячил: молчали. «Не разбери-бери получается». Глазам из барака — про этого уполномоченного «мнилось, что и сам он оброс железной коркой и оттого не слышит живого человека. Слова у него только про злобу, про злобу, про врагов, неостановимый гремящий рот». (И подросток Тиша «тоже позаимствовал злобы» этой.) Однако без вожака — масса слалась.

Но протянут в повести и другой план: взгляд на всё происходящее - из столицы и даже из боевой в пятилетку «Производственной газеты» (явно: «За индустриализацию», весьма влиятельной тогда). В ней — сотрудник редакции Соустин — выходец из того же Мшанска (Мокшан), получивший высшее образование, а в юности, в Пензе, - и воспитанник в доме отца Журкина. Нет сомнения, что это - сам автор, он и открывает себя не только многими жизненными деталями, но и необычным композиционным приёмом: давши о Соустине главу в третьем лице, последует ей главою о нём же в первом лице: прямо автобиографичный тон о своём пензенском детстве, которого как бы не мог отдать в стороннее отображение. Теперь он получает письма с родины от сестры — «тянут мужиков в колхоз», а в нём самом борется изродная любовь к тому ещё недавнему милому Мшанску - «крыши, ласточки, колокольни, тёплая пыль», «ветляная улица, дедушкина изба» (отца для него — как нет, он называет его уничижительную уличную кличку и больше ни слова) - и, вот, пульсирующая жизнь крупной советской редакции, да ещё и в предпраздничные ноябрыские дни. Всеми усилиями Соустин хочет перенять, принять, усвоить и эту здешнюю калёную терминологию, и этот железный взгляд с высот. (Да и автор же, как и его герой, — мучительно преодолевает: как не скрыть правду происходящих ужасов или комичной пошлости — и как разглядеть во всём этом ростки оправдания.) Вот, заведующие отделами с «чемоданистыми портфелями», большинство их ещё и начальствует в наркоматах или «ведёт партийную работу высокой трудности», толкует «о том, где главная опасность на данном этапе». Но как раз заведующий его отделом Калабух — интереснейший тип: по-бычьи насупленный, в обвислых шароварах и гимнастёрке защитного цвета, завсегдатай Института Красной Профессуры, — страстный философ и библиофил — у него и Ницше, и Леонтьев, и Библия на полках, а он после зарплаты ещё смакует в букинистических рядах, на книжных развалах, и любит с Соустиным размяться мыслями: «Ещё старик Фихте сказал...», «Бергсон пишет...». Явно проступает его правый, бухаринский «уклонизм». Вот он пишет в передовой: «наступать на кулака, не подрывая производственных возможностей деревни», — а главный редактор Зыбин сам вычёркивает эту фразу; после же конфликта о том — редакционное закрытое партсобрание ломает Калабуха и заставляет его ещё хуже сдаться и поклониться генеральной линии.

По душе, Соустину линия Калабуха более всего и подошла бы. Но служебная нужда заставляет его выслуживаться и перед Зыбиным. Действительно ли «самая глубокая та правда, о которой он умничал с Калабухом»? А вот Зыбин послал его описывать иллюминованную Москву — а не есть ли это город одиноких внутренне людей? (Видно, как автор томится: не решается высмеять

188 А. СОЛЖЕНИЦЫН

газетные заголовки, обработку праздника.) Но и: «фантастическая и вместе с тем реальная, противопоставленная всему миру страна». Во время парада на Красной площади Соустиным овладевает «чувство собственной малости перед массой», «похожий на рыдания восторг» — «о, как могуче вызрело время!».

Семь лет назад Соустин, демобилизованный командир (опять биография автора), шёл по этому Каменному мосту, и «в то утро верилось, что завоюет, непременно добьётся своего», потому что и он «был участником добычи» — так понять: добычи Гражданской войны. Однако путь оказался совсем не лёгок, и это ещё удача — такая редакция. Но мешает ему «воображаемое беспартийное отщепенство». «...И к газете, и к каждому из нас, товарищ Зыбин, жизнь предъявляет новые требования. Очень важно, чтобы мы, беспартийные, не стояли где-то в стороне. Трудно и невозможно работать по-старому... не окунувшись в самую глубь, в правду происходящего. Страна на историческом повороте...» И Соустин вызывается съездить корреспондентом в родной Мшанск, зачерпнуть этой правды. И Зыбин — доволен, согласен послать. (Прорезающая правда времени: в разговоре с начальником одна малая обмолвка — и невольно получился донос на Калабуха.)

Итак, побывав в Магнитогорске, мы снова возвращаемся в Москву. «Каждую полночь под окнами проплывали сонмища грузовых машин с факелами: рабочие завода АМО показывали столице свою суточную продукцию». А по Москве ходят «рассказы об ударных бригадах, невероятных яростных людях, которые добровольно отрабатывают подряд две смены». И — «запустенье магазинных витрин, нищенские их выставочки». А в газетах — «с каждым днём всё нестерпимее, всё яростней выпирало из статей одно слово — кулак». И рабочие требуют увеличить вычитаемый из их заработка «заём индустриализации». А там — «выполнен план», а там — «перевыполнен», а там чьё-то антипартийное выступление» и «заводские коллективы бурно и единодушно клеймят правых отщепенцев». И Калабух — да, знает о «распространённости сейчас в деревне разговоров о близости и желательности войны» (да в каком советском романе мы такое читали??); и — да, не одобряет эти «хлебозаготовки — оперативное вмешательство в производственную жизнь деревни». Однако наставленье от главного редактора на дорогу: «правда — это то, что является железной необходимостью для класса».

И Соустин едет за этой правдой в родные места. «На мягкой полке колыбельно покачивало», «над деревнями, над овражками проплывал вагон с томительной, уютной своей духотой, с занавесками на окнах, с зеркальными дверями, с московскими, разных степеней сановитости людьми, которые прохаживались, курили, читали... Нет, комфортабельный этот вагон совсем не казался чем-то чужеродным среди снеговой юдоли», но «ощущался плывущим штабом». (А уже заметно опростился автор от своего молодого языкового экспрессионизма...)

Такое построение сюжета — теперь, уже во второй половине книги, открывает нам тот самый Мшанск, ночным побегом из которого на станцию книга началась, — и тот же мужичок Васяня, отвозивший беглецов, встречает теперь Соустина. «Впервые он ощутил Мшанск во всей его выморочной опустелости». На углу — табличка: «Интернациональная улица». (Тот же Журкин, сбежавший, её и привешивал.) «По улице тесно валили мужики в зипунах. По сторонам и сзади шли красноармейцы со штыками, бабы». Кто такие? — забеспокоился Соустин. Пожилой бородатый: «Наши своих повели», — и отвернулся. А сестра боязливо к уху брата: «Кулаки это, в суд их ведут». У сестры и свои вопросы: «Почему это: и резать скотину нельзя, Совет не позволяет, и беречь — кулак будешь?» Весь здешний протест — трое суток несколько сёл демонстративно хоронили юродивого. «Какое немощное, обречённое, покойницкое сопротивление!» Подгулявший мужик вослед озорному трактористу: «Ком-му-нары!» — с угрозой. «Москва со своими огнями жила где-то на недосягаемой разуму планете». Здесь — «спозаранку потухшие оконца, где-то воюшая собака».

Посетил Васяню: тот и пожар перенёс, и объявлено ему «лишение голоса» — а «я с гвоздя, с пустого места, избу себе осилил». Его замучили безнаградным извозом: через день на станцию, а в свободный день — на элеватор. В избе — самодельный тусклячок — «советское электричество». И рассказывает правду про колхоз. (Но главный герой не смеет хоть внутренне не отозваться: «да, он верил в великую воспитательную силу обобществлённого труда, в новое, непреложно-ясное мужицкое будущее».) Показывает и нынешнюю скудную крестьянскую свадьбу, «тоску косного глухоманного житьишка», даже и чаю нет на свадебном столе. В поисках материала для газетной корреспонденции натыкается Соустин на сцену, как активисты ходят по избам, собирают нехотные крестьянские деньги на коллективную покупку трактора. «Хозяин выходил и твёрдо, с усилием, выкладывал на стол несколько бумажек, как бы припечатывая их к столу. То были особенные деньги, медленно сосчитанные, серьёзные, строгие...» «Происходило прощание» со всем деревенским прошлым, и «почившие деды и родители присутствовали при нём незримо».

Но поджимала и своя забота: местная бедняцкая власть «будто для грабиловки» забирала чужие дома, подбиралась отнять и у сестры. Сестра-то уверена теперь была, что её высокий брат из Москвы — дом отстоит, да и Соустин был высокомерно уверен, пока не охватила его здешняя атмосфера и слушок. что семья его — кулацкая (дед был пекарем). Самодовольный бобыль у власти, который «ничем не подходил для газетного очерка» (но ярко описан автором), «от германской войны отбоярился тем, что прикинулся юродивым», отвечает: «Теперь такое время: моя взяла». И так мечтает: «Затопить бы эдакую громадную баню, согнать в неё всех попов и буржуев и зажечь». А на досуге катает он по столу «всяки разны пули», разнокалиберные, какие ему оставил старший брат, убитый продотрядник. В сельсовете же, узнав сходный случай, как «беднота Мшанского района» требовала от высоких городских властей снять с заводских инженеров кулацкого сына и где с Соустина самого потребовали: «А ты, гражданин, скажи нам адресок, где в Москве-то работаешь», — напуганный корреспондент выказал полное равнодушие к судьбе семейного дома, только бы ноги унести из родных мест, трусливо предложил неуклонной сестре самой сдать дом. — Из Пензы обратный поезд, чем ближе к столице, «уже обволакивала благоустроенная государственная атмосфера Москвы».

И завершающим аккордом: в редакции Соустину дают пригласительный билет на дипломатический приём. «Величавая, крахмально-снеговая осанка... горящие круги люстр... Пропархивало райского оттенка платье... По паркету пара за парой отшагивали фокстрот скованными ногами...»

Таков основной корпус четырёх пятых этой небольшой, ёмкой и, на мой взгляд, редкой советской книги.

Но она — «роман», и в закоулках и пазухах её встречаем романические и семейные истории и женские персонажи, однако сплошь невыразительные или не проявленные. Они — как бы вставлены, согласно обязательному распорядку. Кроме характерной старой Аграфены — у них нет органической связи с происходящим, как ни силится автор эту связь создать.

Уже как будто женатый, но и как-то условно, жена отодвинута, — Соустин втравлен в издуманную, ломаную любовную историю с Ольгой Зыбиной, женой главного редактора. И Зыбин как будто видит, но по передовым ли убеждениям, или по его «озлобленной, мстительной работоспособности» не вмешивается. Наиболее надуманна Ольга: сама не знает, любит ли кого и чего она хочет; то, после «Метрополя» (по моде 29-30 года, впервые с революции, длинное платье под коротким пальто, вмиг всего не перешьёшь), игра со стаканом сулемы, якобы готовность самоотравления; то — «надо переучиваться и умом, и чувствами, самое мучительное для меня — неслитность» с эпохой, с массами — и, наманикюренная, в хорошем пальто, идёт на тракторные курсы, подносит и ведро со смазочным маслом. И, вслед за своим рыцарственным коммунистом мужем, находит спасение во всё том же Магнитогорске. Не больше очаровывает нас и кукольчатая дочь Аграфены Дуся — «не человек, а

190 А. СОЛЖЕНИЦЫН

что-то вроде запаха с нежными кудрями». Изо всех женщин видна — только эпизодическая деревенская Клава — «с притенёнными ресницами, что-то бестыжее и привыкшее к баловству, лунатическая, застыло змеящаяся улыбка, лакомые губы». — Не добавляет женственности и кастелянша Поля, ради которой, вопреки канону, всё более и более положительный Журкин бросает нищую жену с полудюжиной малышей.

Журкин — мог ярко развернуться, да не хватило ему в этой книге места. Сын гробовщика, краснодеревец, отличный гармонист. Разорился в пожаре, стал копить деньги на ветряк, но, толчком охмеления, спустил все деньги на напой голытьбы, шедшей табором за его гармоньей. (О, русский характер!) Однако он — зажимист, скромен, честен, мастер — оттого на стройке уже замечен уполномоченным как враг. «Наша простота к железу не ударяет, слеза мы, а не люди: дерево - помягче будет». - Ярко мелькает и магнитогорский жулик-вербовщик: «выхватывал деньги из кармана прямо комком и, не считая, выдирал оттуда, ронял кредитки» (сравнить с лептой мужиков на трактор). Танцует «новый танец, называется фоксик» — «въелся животом в Дусю и разгибал женщину вперёд и назад». — Или томящийся в бесплодном кооперативе саженный рыжий Сысой Яковлевич («каменную лавку имел? или двухэтажный трактир с подачей?», «села сорока на гвоздь, как хозяин, так и гость»). Но и этот сюжет повис, не дотянут, допустимая к печати книга не вмещала. — Неопределённостью обрывается на стройке и судьба Соустина -- старшего брата (откровенно враждебного режиму). — Ещё увидим мельком малограмотного выдвиженца при редакции, не могущего сложить статью, зато: «Бери на чутьё!» пролетарское.

Ещё нашлась в книге ёмкость: через уполномоченного вспомнить и 2-ю Конную армию, и взятие Крыма, и мучительную трудность вживания ветеранов Гражданской войны в необъяснимый отвратный НЭП: опять буржуи, рестораны, музыка, наряды, — за что ж мы воевали, а у друга моего изувеченная нога? Но как раз эта тема — сквозь советскую литературу прошла неоднократно.

Последняя (по объёму пятая) часть романа — победоносно-очистительная. Оптимистический конец, заказанный всем советским книгам. Тем упрощается и задача автора и исполненье её. Тут и прямые сентенции: «что напрягло страну такой фронтовой тревожностью, во имя чего жизнь была урезана до пайка во всём»; «всё на этой земле, сооружения, люди, подвиги, хотело, рвалось превысить черту всегдашнего, житейского»; «над строительством, над близящимся социализмом, плыли весенние облака, хлестал голубой ветер», — к победному финалу успешно приспела и весна. Правда, от этой же весны на насильственно развороченной земле — «изуверская, нигде не виданная грязь», «обложило стройку величавое безлюдье распутицы».

Тут и успешное потесненье стройкою — соседней застарелой коренной слободы. От её колокольни «великопостные звоны пролетали согбенными призраками уныния и могилы». Так сгоняют всю слободу — эту ненужную церковь ломать. «Время ломилось на слободу железной грудью». Под конец в этой слободе происходит последний из традиционных там базаров. Несмотря на все усилия автора к миру новому — этот старый мир выступает у него куда ярче. Соустин-старший «трепещущими ноздрями вбирал знакомый сыздетства веселящий настой из конского навоза, дыма, рогож, ситцевых платков», «пробирался в чащобе покупателей, словно среди дружественного войска». «Родимо пахло деревней» и для Тишки, уже шагавшего в будущее, «базар оборачивался чем-то отрадно знакомым... У возов по-деревенски понурились привязанные лошади и, куда только глаз хватал, торчало воинство оглобель»; «базарная толпа больше чем наполовину состояла из бородатых, земляных хозяев-мужиков... Всё это было своё, облегчительное»; «обступила парная человечья теснота, многоустый говор, зазывы, соблазны», там в чугунке красный соус, там «жарились мясные пироги», там «молодая цыганка, перетряхивающая между коленей белые и синие камещки: "расскажу всю судьбуфортуну"». А колокола «звонят, звонят в остатний... В немолчном трезвоне над вспученным, удушливым от небывалого многолюдья базаром в самом деле чуялось зловещее».

И вот, все закоснелые и колеблемые — встряхиваются навстречу новому миру и светлому будущему. Что Ольга в Москве, что Тишка на стройке овладевают вождением трактора, передовей и быть нельзя! — Кастелянща запушенного барака спохватывается, яростно («дорогу женшине!») требует у конечно сочувственных партийных начальников поднять барачный быт на высоту, получает кипятильники, выскрёбывает барак до чистоты — и дальше включается в «соревнование на лучший барак». - Журкин, в угоду ей и эпохе, сбривает исконную свою бороду, перевоспитывается, приобщается, входит в доверие к профуполномоченному, поражён всем пафосом стройки и особенно грандиозностью деревообделочного завода, где и становится бригадиром сборочного цеха. «И, оказывается, этой партии нужен он, Журкин», И ещё от неизбывного порыва создаёт в нерабочее время добровольную пожарную команду (ай-ай — натыкается тут и на небольшое вредительство). — И всё это финиширует под славный Первомай: все наши герои идут на гулянку в берёзовую рощу, ещё сохранившуюся на соседней горке, там сладит им повеселевшая журкинская гармошка. А в небе — радостно летит самолёт из Москвы.

Нельзя сказать, чтоб и эта вся завершительная часть была написана без добросовестного таланта, хотя именно в ней наказательно меркнет авторский язык. Но уж она и даёт нам отгадку, почему эта книга всё-таки появилась в советской печати.

В этой книге умерилось старание Малышкина выражаться в непривычных сочетаниях слов, но и тут встречаем много свежести:

- народ двигал свою большую тесноту медленно, величаво;
- морщинки, насборенные горем;
- в горле едко слезит;
- сердце заныло гибельно от этого невероятья, от неохватимости мира;
- тряско постукивали зубы:
- голодная, скрипящая зубами нежность;
- изгибно обтянутая чувственность;
- официанты всем телом изъявляли бегучую готовность;
- в обтяжку одетый городской народ;
- двери хлобыстали со стекольным дребезгом:
- леденцовые огоньки иллюминаций;
- гармония охала, расшибая воздух;
- бешеная и смеючая дымка в глазах;
- пенился сладкий риск;
- глухонемые воспоминания;
- чужедальние мраки;
- непроломный мрак;
- молодая зовущая темнота.

Ещё особо о поездах:

- паровозы стреляли паром по земле (на станции);
- блины света (на перроне, под фонарями);
- вагон, разболтавшись, стрелял с пути на путь.

Бывает и трудно провести различие между свежестью выражения и уже отлившимся образом:

- выдохнуть себя всего (в телефон);
- с телефонной трубкой в угол, как с ребёнком (отвернулся);
- жёлтые, похоронившие день лампочки;
- из окон бледный, как бы давний, свет;
- горбатая бабья доля;
- умытый из ледяного колодца молодости;

- сорный, коростяной цвет наволочек в бараке;
- багровое воспаление построечных огней;
- огненный язык государственного флага;
- грузовик прокосолапил в снежной пыли;
- промчался трамвай, как разнузданный конь;
- водка жгучая, будто на хозяйском счастьи настоянная;
- изба, укутанная снопами [для тепла], похожа на деда, заросшего бородой до глаз.

Многие из этих образов могли сложиться только у автора того времени, будущим авторам не открыть, не повторить. Вот, метко увидел плотину, с которой сняли опалубки:

- бетонные бычки, как ноги, согнутые для шага.

Ещё же, особо, пейзажи:

- искорчато-сине сверкала мятелица;
- вся снеговая открытость;
- обрызганные звёздами деревья;
- закат разлился доменной плавкой;
- закат догорал рдяно, обугливая предметы;
 и, перерастающее в символ:
- вместо неба [перед сумерками] туманилось нечто; только на западе различимо было яркое клубление туч, сияющих слишком поздним светом, заимствованным как бы из завтра.

В народной речи:

- от такой работы народ в большинстве назад избегает;
- такому и в беде ветер взад;
- давай по чаям ударим;
- можбыть; бо-знать; казня такая.

Краткий синтаксис:

завтра пироги; выгружать осечка.

И лексика Малышкина по-прежнему — во всём богатстве и непринуждённости:

словоохотиться	разру́шный
царевать (над кем)	лебезливый
обтеснить кого	непочётливый
уютиться где	безхозяйный
присмыкнуть (к чему)	чертоломный
противеть (кому)	щелконогий
нахаосить чего	безпорывный
благоукромно	тяжкодумный
по-простаковски	озлобе́лый
по сэстолько	внимчивый
без останову	сверкучий
с подвизгом	ядучая духота
грубодельщина	щебнистая улица.
полурваное мурьё	
	царевать (над кем) обтеснить кого уютиться где присмыкнуть (к чему) противеть (кому) нахаосить чего благоукромно по-простаковски по сэстолько без останову с подвизгом грубодельщина

в промельке прохожих недряное гуденье (колоколов) прожалобилась гитара хлестучие слова внабой теснились брал напоем дело налётное пытнуть взглядом

колокол рыднул вырыдано от сердца

окопы рытвались тестяные оплывы гримасные губки смехастые зубы от беды ускреблись хоть олной косинко

хоть одной косинкой глаза (увидел)

выполыхивать огоньками

окопировка (экипировка, народная эти-

мология).